

18+

Анна Бабина

# *Коэффициент сцепления*

сборник рассказов и новелл



Анна Бабина

**Коэффициент сцепления.  
Сборник рассказов и новелл**

«Издательские решения»

**Бабина А.**

Коэффициент сцепления. Сборник рассказов и новелл /  
А. Бабина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-981492-0

С чем и с кем мы сцепляемся, чтобы не сорваться с чёртового колеса жизни и не улететь в пустоту и небытие? «Коэффициент сцепления» — это сборник рассказов и новелл о наших якорях: близких людях, родных городах, детских воспоминаниях... В логу, завернувшись в снежное одеяло, спят дома. Леденцовый свет переливается в окнах. Маслянистыми пятнами размазываются по черноте фонари. Медленно ложится туман, как будто кто-то огромный дышит на невидимое стекло, и оно запотекает.

ISBN 978-5-44-981492-0

© Бабина А.

© Издательские решения

## Содержание

Эссе homo 1	6
Синяя папка	10
Коэффициент сцепления	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Коэффициент сцепления

## Сборник рассказов и новелл

### Анна Бабина

*Коэффициент сцепления – величина, характеризующая сопротивление горной породы сдвигу, обусловленное силами сцепления частиц горной породы между собой. (Геологический словарь в 2-х томах под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.)*

© Анна Бабина, 2020

ISBN 978-5-4498-1492-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Ессе homo <sup>1</sup>

### *Моей бабушке*

Антонина Филатовна открывает глаза и понимает, что она не в раю. И не в аду, слава тебе Господи.

Солнце высвечивает узоры на ковре. Если долго лежать, то луч переберётся на поблекший пейзаж, вырезанный из настенного календаря. Антонина Филатовна плохо видит, но очертания Кремля ещё угадываются. А может, она их просто помнит.

Вспоминает детство: рабочий район за Рекой, и жаворонков, которых мама пекла на Сроки. Мама... какая она? Антонине чудятся красные, разбухшие от щёлока руки, и аккуратная кофточка с вышивкой. Мама из её воспоминаний совсем не похожа на суровую женщину в наглухо застегнутом платье, которая тарашится с семейного фотоснимка неестественно светлыми глазами. Мама там совсем молоденькая, и все остальные – родители, братья, дядя – как с картинок к горькому пешковскому «Детству». Его, несмотря на все «свинцовые мерзости», она любила куда больше конфетного Николенькиного с ваточными халатцами и игрушечными собачками... о

Антонина тихонечко переваливается на бок. Руки ощущает, и ноги тоже, спина болит, и это хорошо, потому что и спину ощущает. Набрякшая голова тянется к подушке, но солнце уже напоззло на Коромыслову башню, и, значит, пора вставать.

Непривычно спать одной на кровати. Шесть лет уж, а всё непривычно. Митя спал с краю, лишь изредка, сильно пьяного, укладывали его к стене, чтобы не скатился на пол.

Слишком широко. По молодости-то они где только не ночевали: и на сундуке в углу, отгороженном занавеской от хозяйкиной комнаты, и на солдатской кровати, где можно было уместиться лишь на боку. Ей бы сейчас та кровать пришлась кстати – говорят, для спины хорошо...

Она останавливается в прихожей и глядит на календарь, который внук Вадим привёз из Рима. На каждый месяц – своя картинка, и та, что открылась вчера, называется Ессе homo. Надо будет спросить у внука, что это значит, по-английски он хорошо понимает... Хотя Антонине безо всякого перевода ясно, что это Спаситель наш Иисус Христос. Прямо в душу смотрит, и глаза синие-синие. Чем-то на Митю похож, но так думать, наверное, не подобает. Хорошая картина, хоть и на икону не похожа.

Лампочка в ванной не зажигается – перегорела, но умыться можно, потому что свет падает через окошко из кухни. Вот зачем окошко придумано, а они головы ломали по молодости. Чтобы не в темноте умываться, когда Вадик за тысячи километров, а Оля, если ей пожаловаться, пришлёт какого-нибудь работника. Антонина чужих в доме теперь не любит. Не потому, что воров боится, просто не хочет, чтобы люди на неё смотрели.

Она располнела, и ноги стали как брёвна. Но не эта некрасота пугает Антонину – она стыдится слабости. Она стесняется лежать при чужом человеке, ей неловко, если не будет сил предложить чаю, а стакан окажется мутным.

В полумраке она аккуратно чистит протез, бросает горстями в лицо воду и растирает полотенцем – раньше таких не делали. Совсем воду не впитывает, только размазывает по лицу. Синтетика. Всё теперь синтетика.

Антонина раскладывает на подоконнике таблетки. Вот эту нужно сейчас принять. И эту. А эту расколлет шипчиками пополам. Таблетка маленькая, скользкая, так и норовит выскользнуть из огрубевших пальцев и улететь в пыльный угол под плиту. Такое уже бывало. Должно

---

<sup>1</sup> Ессе homo () – «Се человек», слова Понтия Пилата об Иисусе Христе [лат.](#)

быть, там много таблеток, никто их не выметает. Интересно, думает Антонина, а если мышшь съест таблетку – она отравится? Или, может, у неё давление упадёт? Если да, то всё равно умрет – с такой-то дозы. Фу ты, Господи, что это ей в голову лезет? Маразм. Здесь и мышшей нет, а в бараке были...

Она поворачивает краник, и в чашку с жалобным звуком течёт вода. У неё неприятный привкус, но у них с Митенькой и Олей так повелось – кипячёную воду наливать в самовар. А теперь их нет рядом, зато вода в самоваре есть.

Сегодня Антонина чувствует в себе силу и варит овсянку. В другие дни она обходится бутербродами или даже куском хлеба, посыпанным сахаром. Когда сил не остаётся жевать, лежит и смотрит на башни Кремля, пока они не смешаются со сном.

«Вставай, Тонюшка», – говорит мама, и тёмные глаза блестят – не такие, как на фотографии.

Вместо платья мама одевает Тоню в длинную белую сорочку и прямо в этой льняной нелепице, накинув поверх бабушкин платок, ведёт на Реку.

На Тониной родине небо совсем другое – высокое и нескончаемое, висит и над городом, и над степью. Над водой стелется туман. Ногам зябко.

На берегу их ждёт Тонина тётка и мужчины с бородами. Бороды Тоня не любит. У папы бороды нет, вместо неё – улыбка. Он любит её: после пяти сыночек у него родилась долгожданная дочь. Сейчас папы нет рядом, и это пугает Тоню. Почему-то кажется, что произойдёт плохое. Но вместо этого один из бородачей берёт её за руку и, улыбаясь, что-то говорит нараспев и торопясь, но так ни разу и не сбившись – как так можно? Тоня, например, когда спешит, путает слова. Они вдвоём входят в Реку, вода тёплая, и бородач поливает ей голову. Мама обычно запрещает мочить волосы, но стоит поодаль и молчит...

Крестик тогда, разумеется, не надели. Его, потемневший и мятый, мама зашила в одежду во время войны, потом он куда-то пропал и нашёлся уже после того, как мама ушла. С вещами в их семье вообще происходили престранные вещи...

...Перья плавали в тазу, сохли, а затем расторопные мамыны руки рассовывали их по свежим наперникам. В мутный щёлок мама упустила колечко из «польского золота», которое папа принёс с войны. Тоня весь двор облазила – ничего. «Видно, ноги приделали», – с грустью сказала мама. Вскоре её не стало.

Тоня сделалась Антониной, потом – Антониной Филатовной. Однажды, слушая свистящее дыхание мужа и радуясь, что он спит, Антонина приподнялась на локте и перевернула прохладной стороной вверх раскалённую подушку. В шве наперника почудилось что-то круглое, твёрдое... Неужели?

Не дожидаясь утра, она распоролa подушку. На ладонь выпало колечко из польского золота.

И снова – ковёр, Кремль. Значит, не рай и не ад. Хотя откуда ей знать? Может, ад как раз в этом – вечно подниматься на непослушные ноги, идти в ванную, где не горит свет и молить о том, чтобы однажды увидеть голубые глаза Ессе homo?

Однажды Антонина забрела в церковь. Обычно старалась выбирать время, когда никого нет – на службах её охватывала комсомольская робость: не знала, куда встать, не как сложить руки, как ставить свечи. Но в тот день она всё перепутала и пришла к проповеди, из которой (если правильно поняла) уяснила, что никаких калёных сковородок в аду нет, он – ледяная пустыня, полная безысходности.

«Мама, – сказала Оля, – надо лечиться». Антонина Филатовна дрожащей рукой отодвинула чашку. «Так невозможно, ты только посмотри, как у тебя рука пляшет». Рука и правда плясала. Или, скорее, отсчитывала невидимые деньги – за всю жизнь столько не заработала.

«Как дела у Вадика?» Дочь погрозила пальцем, мол, зря тему переводить, но начала вдохновенно рассказывать про сына.

У Оли было красивое сильное лицо, совсем не похожее на Антонинино. Она уродилась папиной дочкой. Когда Антонина укутала её в одеялко и, с трудом втиснувшись в проходящий поезд, привезла к родственникам, те развели руками – не наша порода.

Взгляд раскосых глаз вернулся к руке, и Антонина поспешила задать новый вопрос: «А как на личном фронте?»

Олю будто отбросило в отрочество, губы сложились в упрямую скобку – такой она была, когда Митя не отпустил её в летний лагерь. Ему, партийному, атеисту, цыганка, разозлённая тем, что не позолотил ручку, шепнула: «Дочь твоя утонет до свадьбы». И он поверил. Если бы ему сказали про Антонину, плюнул бы и махнул рукой – эта выплывет, недаром на Реке родилась. Она грузовик умеет водить, литейщики в цеху у неё по струнке ходят, чушь говоришь, цыганка, несознательная ты... а про Олю – поверил, потому что любил до безумия.

«Об этом не будем», – это Ольга о «личном фронте». Значит, плохо. С отцом Вадика она разошлась давно, когда мальчик заканчивал третий класс, потом помыкалась от одного к другому, и обмякла, отчаялась. Было у них с Митей такое – боялись трудностей. Антонина не такая. На Родине, в рабочем посёлке, не поняли бы. Умри, но сделай, говорил отец – и умер, делая. Надорвал сердце. А Митя, сильный и смелый мужик, однажды бросил молоток и едва не расплакался, когда гвоздь скривился, входя в стену.

В Антонине была – так учили на сопротивлении материалов. Она только и делала, что сопротивлялась, но не считала это подвигом. *прочность*

Проходя по коридору на кухню за очередной порцией таблеток – от давления, стенокардии, желудка и всего на свете – Антонина смотрит на Ессе homo. Терновый венец впивается в нежную кожу лба, но в голубых глазах Спасителя её закалка. Он, наверное, наш, из рабочего посёлка, весело думает она и тут же одергивает себя: не богохульствуй, о душе подумать надо. Спаситель понимающе улыбается: что с тебя взять, институт закончила, да только ничего не изменилось в тебе, рабочая косточка.

По дамбе несутся куда-то машины. Сумерки укутывают кладбище, на котором упокоился Митя, и куда когда-нибудь – возможно, очень скоро – свезут Антонину. Это не страшно. Наверное...

Она раскалывает таблетку на половинки, аккуратно кладёт их на фольгу и поворачивает краник самовара. Знакомого журчания не слышит – вода кончилась.

Встать с табуретки – несложно, а вот наполнить чайник, не расплескав, и зажечь газ – испытание. Выдерживает вопреки сопромату.

В мутных сумерках, щурясь на голубые отблески газовой горелки, садится к столу. День прошёл. Так медленно все у неё теперь выходит, но сутки за сутками летят, приближая к развязке.

Антонина смотрит новости и передачу, где все кричат, перебивая друг друга и обсуждают чьи-то проблемы. Выключает телевизор – экран некоторое время светится молочным прямоугольником. Оля обещала купить новый, с ладонь толщиной. Зачем?

Грохают об пол тапки. Широкая кровать – ползти по ней, как по полю... Укрыться одеялом – и то тяжело. Устраивается терпимо, даже спина «тосковать» перестаёт.

В темноте не видно, но Кремль по-прежнему стоит – прочный.

Антонина Филатовна закрывает глаза и просит Ессе homo дать ей увидеть ещё раз, как утреннее солнце коснётся Коромысловой башни.



## Синяя папка

«Жалюзи пропускали рассеянный дневной свет, создавая в коридоре больницы приятный полумрак», – эта фраза пришла Инне в голову совершенно неожиданно. Наверное, мозг учительницы литературы включил защитную функцию, чтобы не думать о том, что происходит на самом деле.

Слово «приятный» вряд ли подходило этому месту. Выхолощенный кондиционером воздух, желтые стены, деревянные панели-экраны вдоль стен и, в качестве компенсации, больше похожей на насмешку, за весь этот казенный уют, – пара плохоньких репродукций Левитана.

«Над вечным покоем», – вспомнила Инна название одной из картин. Вечный покой... Вечный. Господи, как же страшно звучит.

Она встала, пробуя ноги на прочность, и сделала несколько неуверенных шагов в сторону поста медсестры. Желтые стены плясали перед глазами. Не упасть бы. Детей напугает...

Она обернулась к ним, словно ища поддержки. Оля, младшая, сидела спокойно, только руки беспрестанно двигались: она стаскивала обручальное кольцо и надевала его обратно на палец. Глаза дочери казались узкими от непролитых слёз. Егор ёрзал, как в детстве, пытаясь справиться с волнением.

Инна вспомнила день, когда рассказала Андрею о том, что у них будет ребёнок. Стоял душный вечер, в окно, распахнутое во двор-колодец, влетал чей-то приглушённый смех. Андрей некоторое время смотрел на неё, как будто не понимая, а потом вдруг встал, подошёл к окну и прокричал в молочные сумерки, пахнущие сиренью: «У меня будет сын!» В ответ со двора донеслись чьи-то пьяные поздравления. Это было так непохоже на ее сдержанного и стеснительного Андрея...

– Мы же не знаем ещё, сын или нет, – смущенно бормотала Инна, пока он покрывал поцелуями её покрасневшие щеки и плечи.

– Я знаю, – просто ответил он. И не ошибся.

«Надо напомнить Андрею об этом», – подумала она, и тут же сморщилась от внезапной боли. Андрею больше ничего нельзя напомнить...

Ещё пара шагов. Медсестра поднялась ей навстречу:

– Вам нехорошо?

У неё было приветливое молодое лицо, ещё не подёрнутое равнодушием.

– Нет-нет, все в порядке...

Какое, к черту, в порядке? Вся жизнь разлетелась на куски. «Пошлая метафора», – машинально отметила она.

– Скажите, – выдавила Инна, – а что нам делать дальше?

– Тело передадут на вскрытие, – отводя глаза, отчеканила сестра, – а вы можете спокойно ехать домой...

Медсестре стало неловко за неуместное слово «спокойно», но Инну это нисколько не задело. Её немного теперь могло задеть. Она отступила назад, к детям.

– Я вызову такси, – сказал Егор и взял мать за руку.

Её холодная ладонь целиком поместилась в его крупной и влажной пятерне. Когда-то было наоборот...

Дома Инна машинально переоделась в домашний костюм (терпеть не могла халаты) и прошла на кухню. За окнами по-осеннему стремительно темнело. Она загремела посудой. «Надо приготовить что-то простое, чтобы дети хоть немного порадовались. Макароны с сыром? Они так их любили! Сварить макароны...» Она распечатала пачку, стала неловко вытряхивать содержимое в кастрюлю, и осознала, что сначала нужно вскипятить воду. Как будто разом разучилась готовить, соображать и жить...

Инна высыпала макароны на стол и подошла к мойке, чтобы наполнить кастрюлю водой. В раковине стояла кружка Андрея – утром он опаздывал и не успел её вымыть. В восемь часов Андрей, как обычно, выпил кофе с бутербродом, в половине девятого осторожно, чтобы не разбудить жену, вышел за дверь, а в девять его «ласточка» превратилась в груды искореженного металла на КАДе. Андрей Петрович Герасимов умер в реанимации пять часов спустя. Вот так оно и бывает, оказывается. Утром жена, а вечером – вдова. Инна взяла в руки кружку. Она показалась тёплой. Наверное, руки были слишком холодными.

– Мам, давай я приготовлю ужин, – Егор вошёл неслышно, но она даже не вздрогнула.

– Нет, Егорушка, спасибо. Отдохните с Лелькой. Завтра будет тяжелый день.

– Мам, я вот что подумал... Надо, наверное, свидетельство о смерти баб-Кати найти и папину метрику... Для кладбища.

Она посмотрела на него с благодарностью. Хоть кто-то в семье не должен терять голову.

– Да, посмотри в его столе, пожалуйста. Там много всего, и все перепутано... ты же знаешь папу...

– Я найду, – ответил Егор и поспешно вышел.

Он прошёл в родительскую спальню, где в углу обломком советского кораблекрушения громоздился отцовский стол. Всё остальное в спальне – кровать, шкаф, люстра, кресло – было новенькое, купленное после ремонта, а этого деревянного монстра отец сохранил в память о своём отце.

Егор сел, включил настольную лампу и открыл верхний ящик: сплошные провода, батарейки, старые сотовые телефоны... Дёрнул ручку второго ящика и вспомнил, что отец всегда закрывал его на замок. В седьмом классе первокурсница Марина занималась с Егором английским на дому. Папа как раз починил замочек на ящике и объяснил, что хранит в столе наличные.

– Ты что, не доверяешь Марине? – спросил Егор, внимательно следя за тем, как отец смазывает детали.

– Нет, почему же. Но зачем провоцировать? Что называется «во избежание».

Егору не понравилась тогда отцовская улыбка – виноватая и в то же время хитрая. Раньше он никогда не видел у него такой.

Встречаясь с Мариной в коридоре, папа расспрашивал об успехах сына и шутил, но, уходя из дома, не забывал повернуть ключ в замочке.

В комнату скользнула Лелька: он уловил движение воздуха и запах лёгких цветочных духов. Она села рядом на краешек родительской кровати и, как в детстве, робко ткнулась лбом ему в плечо.

Егор любил сестру всегда, но так и не научился выражать то, что чувствовал. Лелька, он знал, тоже любила его, но стеснялась любых проявлений нежности.

Егор положил ладонь на её растрепанные рыжеватые волосы. Вспомнилось, как мама в субботу отправила их гулять во двор, и, пока он болтал с приятелем, Лелька упала с дерева и сломала руку. «Мама, Егор не виноват, он за мной следил, рука сама сломалась», – начала она с порога оправдательную речь.

– Егор, почему это случилось с нами?

– Я не знаю, Лель. Не знаю.

– Папа же лучший, лучший... Папа...

Она всхлипнула.

– Пашка-то когда приедет? – Егор попытался отвлечь её от неприятных мыслей.

– Раньше завтрашнего вечера его не отпустят... у него доклад...

– У тебя есть я, мама и Пашка. Мы рядом, ты же знаешь.

Лелька всегда была рядом – и когда покончил с собой его лучший друг Сева, и когда Ирка не дождалась его из армии.

Холодной августовской ночью он сидел на завалинке дедовского дома и курил. Тишина давила на уши. Над рекой поднимался призрачный туман. Родители давно спали, когда он тихо выскользнул из дома, завернувшись в безразмерную дедову телогрейку. Скрипнуло крыльцо, мелькнула белая фигурка.

– Ты чего не спишь? – он обрадовался Лельке, но виду не показал. – Не бегай раздетая – простудишься.

– Я мамину куртку взяла, – она помахала у него перед носом пропахшей дымом ветровкой. – А ты чего не спишь?

– Хреново мне, – честно признался Егор.

– Ты из-за Ирки?

– Из-за всего.

– Я понимаю.

– Севку жалко. Дурак он. Ну, проиграл деньги, мы бы ему помогли, собрали...

– Севку жалко, – согласилась Лелька. – А Ирку – нисколечко. Я знаю, что ты ее любил, но...

– Проехали, – он отвернулся.

– Это к лучшему, Егор. Только к лучшему. Все будет хорошо.

– Дай «невидимку».

– Зачем?

– Ящик вскрою.

– Егор, может, не стоит? – Лелька испуганно посмотрела на него.

– Почему?

– Нехорошо это... только папы не стало...

– Лель, ну ты чего... нам надо найти документы – баб-Катино свидетельство о смерти и папино о рождении...

Она вынула из волос «невидимку» и протянула Егору. Рыжая прядь упала на лицо, прикрыв по-кошачьи раскосый глаз. В деревне Лельку не любили. Бабки говорили, что она похожа на ведьму...

– Ты уверен, что стиг? о

Он вставил заколку в замок и с хрустом повернул против часовой стрелки. Ящик тяжело выкатился.

– Держи, – чтобы отвлечь Лельку от тяжелых мыслей, он сунул ей в руки две верхние папки – синюю и красную, а сам принялся перебирать толстую стопку документов.

Письма, диплом, какая-то гербовая бумага... знакомый косой отцовский почерк с наклоном влево... Лелька тем временем раскрыла синюю папку.

– Смотри, вот какое-то свидетельство... – она осеклась и как-то странно вздохнула.

Егор поднял глаза. Сестра смотрела на документ остановившимся взглядом и часто-часто дышала. Истерика. Он уже видел такое однажды, когда на их глазах грузовик сбил собаку.

– Лель?

Она не слышала. Губы у сестры прыгали, лицо белело в темноте, как гипсовая маска. Он вскочил, чтобы позвать маму, но Лелька проворно схватила его за руку:

– Нет.

Она протягивала ему документ, держа его за уголок двумя пальцами. Егор взял бумагу. Свидетельство о рождении. Герасимов Владимир Андреевич. Год рождения – 1991, Лелькин. Место рождения – Нижний Тагил. Отец – Герасимов Андрей Петрович. В графе «мать» – некая Еремеева Елизавета Игоревна. Как в сериале на третьем канале...

Скрипнула дверь.

– Ребята, я макароны сварила... Егор? Ты что?

Первой мыслью было – спрятать этот страшный документ от матери, порвать, уничтожить... но она же все равно узнает. И тут Лёлька закричала – пронзительно и страшно, выкрикивая боль и обиду, которые переполнили её.

– Оля! – мама рванулась к ней.

– Мам, принеси воды, – коротко скомандовал Егор, лихорадочно соображая, куда запихнуть проклятое свидетельство.

– Как. Он. Мог?! – выдохнула Лёлька, и её вырвало прямо на пушистый бежевый ковёр.

– Он ездил туда в командировку, ты должен помнить...

Инна сидела напротив сына прямая и торжественная, как на панихиде.

– Он никогда не говорил тебе?

– Никогда.

– Ты понимаешь, что этот Владимир – тоже наследник?

– О господи... Наследство... я даже не думала. Мне казалось, что страшное произошло и закончилось – сегодня в три. Но нет... господи, тридцать семь лет вместе, и теперь такое... за что?

– Там есть телефон. Я позвоню ему.

– Егорушка, зачем? Может, не стоит?

– Он – его сын. Имеет право знать.

– Какая грязь!

Егор с грохотом отодвинул стул и подошёл к окну. Шёл дождь. За взъерошенными кронами деревьев колебались размытые ореолы фонарей.

– Я ведь его любила, – тихо сказала Инна.

– Я знаю.

– Не сердись на него, Егорушка. Он уже искупил свои грехи.

– Он поступил отвратительно – и с тобой, и с нами.

– Не надо, Егор. Он нас слышит. Ещё сорок дней он здесь.

– Пусть слышит! – Егор топнул ногой, как в детстве.

– Он тоже нас любил, сынок. Люди ошибаются.

– Он даже не раскаивался, мама!

– Откуда ты знаешь?

– Он даже не думал рассказать нам...

– Думал, что я не прощу.

– А ты бы простила?

– Теперь думаю, что да.

Инна подошла к окну и встала рядом. Она едва доставала ему до плеча.

– Я позвоню ему завтра, мама, – сказал Егор и робко обнял мать.

Егор думал, что уснуть будет нелегко, но провалился в забытье, едва голова коснулась подушки. Спал крепко, без сновидений, и открыл глаза в половине девятого. Мама с Лёлькой легли в родительской спальне, а он притулился на диване в гостиной, которая когда-то служила детской. На паркете оставался темный след – под новый 1996 год Севка уронил там бенгальский огонь. Севка... баб-Катя... теперь папа.

Он взял телефон и вышел на балкон. Бумажка с номером Владимира колола пальцы. Брат... чудны дела твои, Господи, как говорила баб-Катя. Всю жизнь мечтал о брате – и вот он, получи и распишись.

В трубке долго шли колючие гудки, потом что-то щелкнуло, засипело...

– Аллю! Аллю!

– Аллю, – не сразу ответил Егор – странный сухой спазм сдавил горло. – Владимир, здравствуйте. Меня зовут Егор. Андрей Петрович, ваш отец, умер.

«Андрей Петрович, ваш отец». Как странно прозвучало. Ведь он, Андрей Петрович, их отец... Их обоих.

– Умер... отец... умер? – пролепетали на том конце.

– Да. Разбился на машине.

Зачем он это сказал? Может, положить трубку? Если бы вот так позвонили ему, что бы он сказал, сделал, подумал? Ему сообщила мама, и он сразу вцепился в её спасительное тепло, которое тянулось к нему сквозь трубку. А если бы это был кто-то другой – чужой, холодный, официальный?

– Егор, – глухо отозвалась трубка, – вы ведь его сын, да? Простите меня, пожалуйста.

Прощения просит, лицемер! Егор сглотнул гневный комок:

– Да, я его сын.

– Сам бы прекрасно доехал, – Егор никак не мог избавиться от привкуса ярости во рту.

– Егорушка, пожалей его, ведь он тоже отца потерял...

Инна замолчала, боясь, что голос выдаст её. Она чувствовала то же, что и сын – горечь и гнев – и ничего больше, но считала, что должна переубедить Егора. В конце концов, им этот далекий Владимир зла не делал... Он же не просил мать рожать его от чужого мужа? Она невесело усмехнулась своим мыслям.

– Ну и где он? С Екатеринбурга давно все прошли.

– Из Екатеринбурга, – машинально поправила Инна.

– Один хрен.

Он нарочно сказал грубость, зная, что мать терпеть не может таких слов, но Инна не услышала. Она увидела своего Андрюшу таким, каким он был до рождения Егора. Худенький, сутулый, взъерошенный, он неуверенно шагал через зал прилёта. Вздвогнув, Инна качнулась к Егору – сыну, который никогда не был похож на отца так, как этот чужой мальчик.

– Владимир, – тихо сказала она.

– Где?

Егор смотрел и не видел, зато Владимир, видимо, понял, кто они, и несмело подошёл ближе.

– Здра-здравствуйте, – он немного заикался.

– Добрый день, – буркнул Егор. – Пошли быстрее, стоянка дорогая.

– Здравствуйтесь, Володя, – Инна попыталась улыбнуться, но даже сухой и вежливой улыбки не вышло – слезы застилали глаза.

– Соболезную.

Владимир легко шагал рядом. Вблизи он уже не казался Инне копией Андрея, но оставалось что-то неуловимое – в походке, повороте головы, робкой улыбке – что играло с ней злую шутку. Она хотела ненавидеть его – и не могла. Он украл у неё свет, который должен был согревать после смерти мужа, но хотела ли она обманываться?

– Я за-забронировал себе хостел на Невском. Вам нужна какая-то помощь? У меня есть немного денег...

– Нет, спасибо, Владимир, мы все уже оплатили.

В машине он долго не мог устроиться, чем ещё больше разозлил Егора, а потом потерянно смотрел на поля и дома, мелькающие за окном. Инна безуспешно пыталась найти в сумке бумажные салфетки. Все молчали.

– Инна Михайловна, – наконец нарушил тишину Владимир, – я же не путаю отчество?

– Нет, – холодно ответила она.

Инну больно кольнуло осознание того, что Андрей, возможно, рассказывал о ней своей женщине и этому робкому зайке.

– Я хотел сразу объясниться. На наследство я претендовать не стану, мне оно не нужно...

– Вот спасибо, – не выдержав, фыркнул Егор.

– Егор! – Инна попыталась изобразить недовольство, но вышло слабо и фальшиво. В глубине души ей было даже приятно, что сын поставил на место этого... Вовку. Она всегда терпеть не могла имя Володя. Вова, Вовка, Вовочка... тьфу. еѐ

– Извините, – Владимир снова уставился в окно.

«Смотри-смотри, – злорадствовал Егор. – У себя такого не увидишь». Владимир все ниже и ниже наклонялся к окну, пока не уткнулся в стекло. На повороте Егор вдруг заметил, что у Владимира запотели очки – он плакал.

Ранним утром следующего дня они поехали на кладбище договариваться насчет похорон. Остро пахло опавшей листвой, в пронзительной голубизне над соснами заливались птицы. Лелька с мужем остались дома, зато Владимир напросился с ними. Он почти все время молчал, говорил лишь тогда, когда к нему обращались. Это смирение раздражало Инну. Ей хотелось, чтобы он разозлил её, хотелось наговорить гадостей, да не было повода.

В болезненном оцепенении она бродила по ритуальной конторе: трогала гробы, поправляла ленты на венках, со странным любопытством разглядывала пахнущие деревом новенькие кресты. Это все не всерьёз. Игра. Андрей не мог так поступить с ней. Он не мог уйти, оставив её один на один со всем этим...

– Мама, – Егор окликнул ее, и она отдернула руку от траурной ленты с золотыми буквами.

– Да?

– Подойди, пожалуйста.

Она поспешила к нему.

– Инна Михайловна, позвольте мне заплатить за что-нибудь. Ведь это мой отец, – Владимир появился откуда-то сбоку, она уже успела забыть о нём.

– Не стоит, – отрезал Егор.

Инна повернулась к Владимиру, чтобы подтвердить слова сына. Они не нуждаются в подачках, тем более от таких людей... Он стоял, сгорбившись, в дешёвом растянутом свитере, неаккуратно подстриженные волосы торчали в стороны, как бы он их не приглаживал. Глаза за стёклами очков подозрительно блестели. В эту минуту он был страшно похож на Андрея.

– Егор, если Володя хочет...

– Решайте сами!

Егор распахнул дверь и, как ныряльщик, выпрыгнул в прозрачный осенний день. Они остались вдвоём в окружении пугающих атрибутов последнего пути.

– Он к вам часто приезжал? – тихо спросила Инна.

– Редко. Я раз пять всего его видел, – он отвёл взгляд.

– Ты даже представить не можешь, что у меня внутри сейчас, – со злостью сказала Инна.

Пахнуло свежим воздухом осеннего бора и крепким табаком, задрожали, вспыхивая золотыми буквами, ленты. В контору ввалилась размалеванная девица в темном платке.

– Ну что, определились? – почти весело спросила она.

– Ещё нет, – устало ответила Инна.

– Я помогу.

Володя шагнул к ней.

– Мама, я тебя не понимаю. Тебе больше всех нас должно быть отвратительно все это, а ты с ним сюсюкаешь, как с маленьким.

Егор мерил кухню шагами. Лелька, чьё лицо казалось особенно бледным на фоне огненных волос, склонилась над чашкой и булькала чаем, как маленькая девочка. Инна стояла у окна, скрестив руки на груди.

– Он не виноват, Егор. Ни в чем. В том, что случилось, виноват твой отец и его мать.

– Ах вот как ты заговорила! «Егор, он нас слышит, ещё сорок дней он здесь», – переразнил он Инну.

– Я говорила о том, что своей смертью он искупил свои грехи. И Володя тут совершенно не при чем.

– Володя?! – взорвался Егор. – Может, ты ещё пожить его к нам пригласишь? Он одного года с Лелькой, как ты не поймёшь! Он от тебя ездил к этой бабе, а от неё – к тебе!

Инна вздрогнула, как от удара. Лелька часто задышала, и, чтобы успокоить дочь, Инна положила руку ей на плечо.

– Ну-ну, перестань. Все в порядке. Егор, – по-учительски рассудительно сказала она, – Володя причиняет мне сейчас гораздо меньше боли, чем ты. А ведь ты – мой сын.

– Отли-и-ично! – процедил Егор. – Ты уже и сравнивать начала.

– Я никого не сравниваю. Ты мой сын, и я безумно тебя люблю. И Лельку люблю. Вы у меня замечательные. Но тебе стоит пожалеть этого мальчика – он не виноват в том, что совершили его родители.

Егор некоторое время смотрел на неё, потом шумно выдохнул и проговорил примирительно:

– Чаю налить? А то вон Лелька со дна что-то тянет...

– Спасибо, я не хочу, – Инна вышла из кухни.

Хоронили в дождь. Инна, разбитая бессонницей и переживаниями, стояла, прислонившись к плечу Егора и буравила взглядом старый металлический крест на соседней могиле. С утра болело сердце, отголоски вцеплялись в плечо и лопатку. После отпевания стало лучше, но ненадолго. Когда она увидела разверстную могилу, всё поплыло перед глазами, голову обожгло болью, под веками рассыпались колючие искры.

Лелька едва держалась на ногах. Паша обхватил её двумя руками, как ребёнка, который учится ходить.

На Егора было невозможно смотреть: за считанные дни он почернел и осунулся.

– Ты бы заплакал, – сказала ему накануне вечером Инна.

Он посмотрел на неё диким взглядом и вышел, хлопнув дверью.

Володя стоял вдалеке, смешавшись с толпой дальних родственников. Кажется, плакал.

На поминках он не прикоснулся к еде и ни разу ни с кем не заговорил. Инна молча ковыряла вилкой остывший резиновый блинчик. Она терпеть не могла поминки: всю эту суету, алкоголь, неискренние поминальные речи и пустую болтовню. На другом конце стола сестра Андрея рассказывала о поездке на Мальдивы, пока ее муж – угрюмый и туповатый – лихо опрокидывал рюмки. Выживший из ума двоюродный дед гладил по руке свою бабку и задумчивым тоном повторял:

– Девушка, мы с вами точно где-то встречались.

Лелька цедила минералку с лимоном – её тошнило. Слева от неё Пашка жевал хлебную корку, пытаясь не заснуть – предыдущую ночь он провёл в самолете. Справа застыл Егор. Его пепельно-серое лицо выражало отчаяние.

– Егор, скажи что-нибудь, – задорно выкрикнула бабка Фрося, седьмая вода на киселе.

Ее остренькое личико покраснело от «беленькой», а уголки рта то и дело предательски ползли вверх – казалось, она радуется тому, что пережила Андрея.

Егор, покачиваясь, вырос над столом.

– Егор? – встревоженно прошептала Инна.

– Я нормально, мама, – чужим сильным голосом проговорил он.

Глаза его блуждали по лицам, не фокусируясь. Вдруг он вздрогнул всем телом и стал заваливаться на бок с тонким пронзительным «и-и-и-и».

– Господи! – вскрикнула Фрося.

Егор тяжело рухнул на ковёр, чудом не задев затылком край стола. Его ноги задергались, глаза закатились.

– Вилку, вилку ему в зубы! – заверещал кто-то.

Инна оцепенела. Лелька задышала громко и часто. К Егору через всю комнату метнулась тень:

– Н-не нужно никакой вилки. Мягкое что-нибудь давайте.

Володя притянул голову Егора к себе на колени и замер.

– Это п-пройдёт, у мамы такое часто бывало, – спокойно сказал он.

Тело Егора ещё подергивалось, но все реже, реже... Наконец, раздалось сопение.

– Он уснул. Все нормально. Помогите мне перенести его на диван.

– Мама умерла два месяца назад, – сказал Володя и отвернулся.

Они вдвоём сидели на опустевшей кухне. Инну была крупная дрожь. Гости разъехались.

Егор спал в гостиной, Лелька с мужем – в спальне.

– Извини, я не знала.

– Это ничего бы не изменило.

– Так ты остался один?

– Нет. Я живу с бабушкой. После того, как мамы... не стало... она очень плохо себя чувствует.

– С кем же ты ее оставил?

– С племянницей. Инна Михайловна, я очень благодарен вам, что вы позвонили мне и разрешили приехать. Я ведь чувствую, что Егор и Ольга были против...

– Что ты...

– Нет, правда. Я ведь вам соврал, Инна Михайловна. Простите меня. Я вообще никогда не видел отца. Он больше не приезжал в Тагил. Ни разу. Никогда.

Наверное, ей должно было стать легче, но сделалось почему-то только горше. Если Андрей действительно здесь, пока не истекли сорок дней, то пусть ответит: зачем он поступил так с ними со всеми?

– Я знаю, что он был прекрасным человеком. Вы его очень любили. И я любил. Любил то, что рассказывала о нём мама... Простите, я не должен всего этого говорить, наверное.

– Ты очень на него похож, – Инна горько улыбнулась, – но, я думаю, ты будешь лучше него.

– Вы злитесь, я вас понимаю. Я тоже злился на него. Очень долго злился. А когда позвонил Егор и сказал, что отец умер, я заплакал. Я ведь верил, что однажды он позвонит в дверь и скажет: «Здесь живет Володя Герасимов?», и я отвечу: «Да, папа, это я». Смешно, да?

Инна больше не могла сдерживаться. Она зарыдала, оплакивая Андрея, Володю и себя.

– Позвони, как долетишь, Володя, – тихо сказала Инна, пожимая его руку – сухую и сильную, как у отца.

– Обязательно, Инна Михайловна.

Егор стоял поодаль и делал вид, что изучает табло вылета, хотя на нем уже долгое время горели китайские иероглифы.

– Егор, – негромко позвал Володя.

Они посмотрели друг на друга. Егор подошёл, протянул ладонь и сказал сухо:

– Будешь в Питере – звони. Поможем.

– Нет уж, лучше вы к нам в Тагил, – и он смущенно рассмеялся. – До свидания.

– До встречи, Володя.

– Пока, – Егор снова уткнулся в табло.

Володя, сгорбившись, зашагал к стойке авиакомпании. Он был очень похож на отца.

## 199106

Он повертел в руках скрипучую пластиковую упаковку. К счастью, торт не помялся, когда он резко затормозил, потому что какому-то идиоту взбрело в голову нестись через дорогу возле Горного института.

Торт был такой, как любит мама – большой, круглый, как шляпная коробка, с вензелями и кипенным кружевом взбитых сливок. Иногда ему казалось, что такие торты – жирные, сладкие – не ест уже никто, кроме них, Ковалевых, но мама даже смотреть не желала в сторону модных тирамису и чизкейков. Хорошо хоть, что масляный крем не просит... Перед его глазами тотчас замельтешили пышные кремовые розы – он их терпеть не мог, от каждого куска такого торта его несколько часов поташнивало, как после поездки в «львовском» автобусе, зато мама с удовольствием слизывала жирный крем с серебряной фамильной ложечки. Он улыбнулся и включил сигнализацию.

Его путь лежал через тихий зелёный дворик. В старой части Васильевского таких почти не встретишь, зато здесь, ближе к Гавани, полно. Он посмотрел на новенький детский городок, на его разноцветные переходы, лесенки и горки, и невольно представил эту площадку такой, какой она была лет тридцать назад: массивные пустые вазоны, скрипучие качели в чешуйках ржавчины да скучная серая горка в форме слона. На этом бетонном слоне ежедневно кто-нибудь разбивал нос. Однажды пришла и его очередь; он отчетливо помнил, как бежал к парадной, оставляя за собой пунктирный красный след на снегу. Было не больно, скорее, обидно, и кровь казалась похожей на клюквенный морс.

Вот и парадная. Когда, интересно, убрали скамейку? Была она в прошлый раз, когда он приезжал к родителям, или нет? Кажется, была. Вот и куст сирени ещё не успел выровняться, растёт в стороны, как будто окружая скамейку. Когда-то на ней сидели три бабушки. Он всегда с ними здоровался, а они в ответ смешно кивали разноцветными узорчатыми головами. Всех их звали Нинами, поэтому различали бабушек по отчествам – одна была Кузьминична, вторая Игнатьевна, а третья... фу ты черт, забыл. Он подумал вдруг, что этим Нинам, должно быть, тогда было немногим больше, чем его матери сейчас, но они казались гораздо старше. Из-за платков, наверное. Маму не заставишь надеть платок. Даже когда она заговаривает о смерти (терпеть не может он эти разговоры), просит, чтобы её хоронили в чепце... Да разве в платках дело? Ведь им, этим Нинам, лет по двадцать было, когда война началась... Вот и постарели рано. И ушли – рано.

Пока он рылся в борсетке в поисках ключей (и куда они все время деваются?), домофон пронзительно запищал, и дверь распахнулась, выпуская парочку – женщину с сыном на роликовых коньках.

В парадной царила прохлада и полумрак. Он взглянул на узкий лестничный пролёт и вспомнил, как к соседям с третьего этажа, Рабиновым, пианино поднимали на тросах и грузили через окно. Интересно, куда оно делось, это пианино, когда Рабиновы уехали в Хайфу? Сейчас в квартире живёт бизнесмен с молодой женой и дочерью. Им пианино явно ненужно, они любят горные лыжи и дайвинг. Неужели оно до сих пор стоит там, в квартире, запечатое, как пленник? Или, может быть, его разобрали на части и вынесли на помойку? Он усмехнулся. И что за мысли лезут в голову? Вечер воспоминаний устроил...

Он по привычке заглянул в почтовый ящик. Видимо, отец вчера выгреб все газеты и рекламные проспекты – на дне ящика сиротливо лежал один-единственный конверт. «Ковалёву А. А.» – прочитал он и усмехнулся. Кто на этот раз решил написать отцу? Армейский приятель из Батайска? Тётя Надя из Зеленограда? Обратного адреса не было.

Вдруг что-то царапнуло едва заметно, как крошечная заноза. Почерк показался знакомым. Ведь он тоже Ковалёв А. А. – Александр Андреевич. Может быть, письмо адресовано ему? Ведь он тоже здесь жил когда-то... Что за ерунда! Кто в наше время станет писать бумажные письма?

Он ещё раз взглянул на конверт. До чего же знакомый почерк! И совсем не похож на аккуратные «чертежные» буквы тети Нади. Буква «К» единственная ровно стояла на строчке, остальные прыгали туда-сюда... Он вдруг вспомнил – и эту крупную «К», и веселые разнокалиберные буквы. Сколько неприятностей доставляли они ей в начальной школе! Вот она сидит

рядом, низко склонившись к парте. Не высовывает кончик языка, когда пишет, как многие девчонки из класса, но от сосредоточенности у неё странно каменеет лицо, становится совсем неживым, как у бюста Ильича в холле первого этажа. Она пишет, старается, но все равно получается неаккуратно...

Он торопливо разорвал конверт. «Милый Шанежка!» У него вдруг защипало в носу. Так вот как это бывает! Стук из прошлого. «Шанежка» – так она его называла. Ее родители приехали в Ленинград откуда-то с Урала, и мама по воскресеньям пекла шанежки – вкусные круглые ватрушки с картошкой и творогом. «Шанежка, пошли шанежки хавать», – заливисто смеялась она, без всякого стеснения демонстрируя щербинку между передними зубами.

Он поставил торт на почтовые ящики и развернул письмо. Оно было совсем небольшое, и буквы разбегались в стороны куда больше обычного.

Почему – сейчас?

*«Милый Шанежка! – писала она. – Сейчас, когда ты читаешь это письмо, я, возможно, лежу над Атлантикой, или еду через пустыню, или лежу на диване в своём доме где-то в городке... назовём его Спрингфилд. Я не вернусь в Питер. Я так решила. Я вышла замуж за хорошего человека, и больше никогда не стану ворошить прошлое. Мамы нет уже больше пяти лет, поэтому с городом меня ничего не связывает. Комнату на Весельной я продала какому-то милому молодому архитектору. Со мной нет ничего – ни фотографий, ни писем, ни книг. Это было моё решение. Я решила ничего не брать в новую жизнь...»*

– Привет!

Она сидела на скамейке и читала книгу. Читала! Сама! Про себя! Это было удивительно. Она подняла на него янтарные глаза – он ни у кого не видел таких глаз ни до, ни после – и со старушечьим вздохом (разумеется, он ей помешал) ответила:

– Ну, привет, коли не шутишь...

– Как тебя зовут?

– Елизавета, – она улыбнулась уголком рта. – А тебя?

– Санечка, – хотел сказать он, но накануне у него вывалился ещё один зуб, и вышло что-то вроде «Шанефка».

– Шанежка? – Лиза расхохоталась. – Это же пирожок!

– Сама ты пирофок. Шанефкой меня все называют. А так я – Алекфандр. А про что книфка?

– Про любовь, – важно сказала Лиза. – «Два капитана» называется. Хочешь, дам почитать?

– Я не умею, – ему стало стыдно.

– Это ничего. Я тоже не умела, а за лето научилась. Со мной бабушка занималась.

– У меня тофе есть бабуфка, но она с нами фывет.

– Это здорово. Я очень люблю бабушку. При ней мама с папой никогда не ругаются, – и, словно испугавшись своей откровенности, Лиза осеклась.

Они сидели рядом и молчали. Лиза теребила в руках переплёт книги.

– А хофеф... – сказал он, – я подарю тебе кремень от фафыгалки?

Совершенно мистическим образом они попали в один класс и оказались за одной партой. Он всегда рос быстрее одноклассников, но из-за близорукости учителя сажали его за первую парту. Лиза же, наоборот, тянулась вверх медленно, словно нехотя, и её было почти не видно из-за крышки парты. Что, впрочем, не мешало ей быть круглой отличницей. Если бы не она – смелая, находчивая, за словом в карман не полезет – ему бы, наверное, пришлось несладко. В детстве за ним закрепилась репутация недотепы и неудачника; мама с папой, для которых он стал поздним и долгожданным ребёнком, тряслись над ним и решали все его проблемы – таких не любят ни в детстве, ни после. Лиза изменила его. С ее подачи он научился давать сдачи,

играть в футбол и прыгать с крыши одноэтажного флигеля. Неудивительно, что его родители сразу невзлюбили эту девицу...

*«... Я пишу только тебе, потому что хочу сказать огромное спасибо за все то, что ты делал для меня. За то, что был рядом. Тебе казалось, что я избавляю тебя от одиночества? Это ты избавлял от одиночества меня...»*

К пятнадцати годам все одноклассники разбились на пары и, не стесняясь учителей, целовались и обнимались на подоконниках. Только они с Лизой оставались одиночками: всюду ходили вместе, бегали на залив, ездили за город, но он не решался даже взять её за руку.

Однажды Лиза пришла на встречу расстроенная, но рассказывать ни о чем не захотела. Это была её характерная черта: она всегда молчала до последнего, сверкая глазами.

Он чувствовал, что ей плохо, но поделать ничего не мог. Не найдя ничего лучше, он повёл её в арку-провал – их секретное местечко на Тринадцатой линии. Они зашли в подворотню, сделали несколько шагов, и вдруг над их головами открылось стылое октябрьское небо.

– Ты ведь меня не оставишь? – вдруг спросила Лиза. Нижняя губа у неё подрагивала, но глаза оставались сухими.

– Никогда, – пообещал он.

Соврал, разумеется...

*«... Ты – лучшее, что случилось со мной в жизни. Из всего того, что было, я хочу оставить только тебя. Я не знаю, что будет завтра, послезавтра, через месяц. Просто хочу, чтобы ты был со мной. Хотя бы так...»*

На праздник, посвящённый его шестнадцатилетию, Лиза не пришла – сказала больная. За столом сидели школьные приятели, которых он обрёл благодаря ей. Они принесли пиво и украдкой потягивали его на застекленном балконе. Ему было неуютно. Хотелось стукнуть кулаком по столу и уйти в метельную темень.

В половине одиннадцатого, когда приятели разошлись, а родители вернулись из театра, раздался телефонный звонок. Трубку взял отец.

– Тебя, – недовольно буркнул он, и стало понятно, что звонит Лиза.

Он не узнал её голос – влажный, хриплый, далекий.

– Шанежка, с Днём Рождения. Через полчаса в арке-провале. Жду.

– Она с ума сошла! Проститутка! – увидев, что он шнурует ботинки, мама взорвалась. – Андрей, скажи ему! Куда он пойдёт? Ночь на дворе! Гопота вся вышла! Холодина! Метель! Да и что это за штучки? Она свистнет, и ты побежишь?!

– Мама, она мой единственный друг, – тихо, но твёрдо сказал он. – Что-то случилось, иначе она бы никогда...

– Друг? А кого ты сегодня приглашал тогда?

Мама выглядела уже не злой, а растерянной.

– Ольга, он взрослый мужчина. Подумай о ней – стала бы она выходить в ночи одна. Может, действительно что-то случилось. Ты же сама говорила, у них там вроде не все в порядке, у её родителей...

Навстречу ему из арки-провала метнулась крошечная дрожащая тень.

– Шанежка, прости меня, я не хотела в твой день рождения... но... Шанежка, папа ушёл. Представляешь? Собрал чемодан – и ушёл. Мама полбутылки уже выпила... Шанежка... – и она разрыдалась.

Он неловко обнял её (да что там, схватил поперёк тела и прижал к себе).

– Лиза, Лиза, что ты, перестань...

Он вдруг увидел, что куртка у неё надета прямо на футболку, а на ногах – легкие кроссовки.

– Пойдём к нам, Лиза. Пойдём.

– Твои родители меня не любят, – мгновенно каменея, ответила она.

– Это неважно, – твёрдо сказал он и вдруг прибавил, – зато я люблю.

*«... Я не претендую на то, чтобы быть с тобой. У тебя семья, дети. Я была одна и буду одна всегда, даже сейчас. Мне просто важно знать, что где-то на другом конце земли есть ты, Шанежка. Милый мой человек...»*

С той ночи, когда мама, недовольно поджав губы, постелила ему на полу, а Лизе – на софе, многое переменилось. Они по-прежнему не держались за руки, но Лиза стала с ним какой-то близкой и мягкой, совсем не такой, как раньше. Он и раньше подозревал, что на самом деле она другая. Эти перемены неожиданно испугали и расстроили его.

Лиза, его волевой и храбрый товарищ, стала обидчивой и слезливой, несла всякие сентиментальные глупости, требовала поцелуев и внимания... Аккуратно целуя её в растрескавшиеся губы, он ощущал только робость и волнение – почти неприятное.

Встречи с Лизой тяготили, он научился врать и выкручиваться. Однажды прямо посреди разговора она, нервно заправив за ухо прядь волос, встала со скамейки и сказала ему:

– Не стоит тебе встречаться со мной, Шанежка. Счастья я не принесу, – и быстро ушла.

Он не стал догонять её...

*«... Не стоит искать меня. Я всегда приносила тебе одни лишь неприятности. Ты очень хороший, Шанежка. Очень. Я не знаю, что стало бы со мной, если бы не ты...»*

Придя после лета в выпускной класс, он узнал, что Лиза забрала документы и поступила в техникум. Чувствуя невольную вину, он позвонил ей. Лизина мать заплетающимся языком сообщила, что дочь куда-то переехала. Адреса она не знала или не захотела говорить. Никто не знал о Лизе ничего – ни хорошего, ни плохого. Он прекратил поиски почти с чистой совестью. Честно говоря, он не знал, что скажет Лизе, если встретит её на улице.

После школы он поступил в Бауманку и с облегчением уехал из Питера.

*«... Ты всегда появлялся в самые тяжёлые моменты моей жизни. Не появился только сейчас, и я сочла это знаком. Значит, так нужно. Значит, всё...»*

Прошло почти десять лет. Он женился, через год появился Славка, ещё через два – Алиса. События сыпались, как фигурки в «тетрисе», он только успевал складывать. Однажды на новогодние каникулы они приехали к родителям.

Жена отправила его за детским питанием. Он с удовольствием вышел в морозную мглу: за три дня все они успели порядком надоесть друг к другу. Его Марина ладила с матерью только на расстоянии, да и сам он отвык от родительских поучений.

Постновогодний город выглядел апокалиптически: ветер нёс по Среднегаванскому мусор, отяжелевшие от жирной еды и неумеренных возлияний горожане почти не появлялись на улице. Он шёл по знакомым местам и не узнавал своего города. Москва была совсем другой – стильной и выглаженной, как костюм дипломата...

Он зашёл в магазин, отряхнул с ботинок серый снег и зашагал к стеллажам с нарядными баночками. Ему неожиданно расхотелось уходить из тёплого магазинного нутра, но это странное ощущение отпустило так же быстро, как возникло. Он взял несколько жестяных цилиндров и прошёл к кассе.

– Пакет нужен? – кассирша подняла отяжелевшую от недосыпа голову.

Он ни за что не узнал бы ее, если бы не глаза – темный янтарь в золоте.

– Шанежка...

Он уловил своё имя в движении сухих бескровных губ. У неё по-детски задрожал подбородок. Янтарь оплавился, капелька смолы повисла на ресницах.

– Маша, пятнадцать минут, – умоляюще крикнула она куда-то в подсобку.

Голоса он тоже не узнал.

– Шанежка, мама умерла, – прошептала она и вздрогнула всем телом, как тогда ночью в арке-провале.

– Лиза, я...

– Я понимаю. Видела, что ты купил. Я очень рада, Шанежка, правда. Очень рада...

– Лиза, как ты?

– Я хорошо, Шанежка. Давай не будем. Расскажи о себе.

Он что-то говорил, наверное. Точно не молчал. Они стояли в подворотне, прячась от ветра и поземки. Лиза курила, кутаясь в тонкую жилетку с эмблемой магазина. Он снял финский красный пуховик и накинул ей на плечи. Она слабо возразила, но тотчас принялась наглаживать блестящий рукав сухой бледной ладошкой. Он знал, что завтра сляжет с температурой. Он заболел от любого сквозняка, как в детстве, но ему было все равно.

*«... Я заканчиваю, Шанежка. И так слишком много получилось. Надеюсь, ты счастлив. Я тоже постараюсь. Л.»*

Засвистел чайник. Мама взглянула на торт и расплылась в улыбке:

– Самый дорогой, небось, взял, Санечка. Сейчас снимем пробу...

– Саш, а ты ящик не проверил? Нам квиток за газ должен прийти, что-то нет уже вторую неделю, – крикнул из ванной папа.

Он стоял, широко расставив ноги, и бережно, как ребёнка, мыл под струей воды огромный темно-зелёный арбуз.

– Ящик пустой, – ответил он и отвёл глаза.

*Год спустя*

– Ребзя, вы не представляете, как я рада, – Лена Рабинова бодро вскочила из-за стола, но тут же покачнулась. Пожалуй, она выпила многовато вина.

– А мы-то как рады, – крикнул Серёжа Ячменный, поднимая бокал. – Давайте выпьем за Лену, которая прилетела к нам с тёплого Красного моря в зимнюю стужу!

– Хайфа на Средиземном, дурачок, – кокетливо засмеялась Лида Лединская. – Что тебе ВерВанна по географии ставила?

– Пять! Она всем, кроме Батухтина, ставила пять! А он однажды спросил, почему статья про промышленность Тольятти находится в разделе «География России»!

Грохнул смех.

– Эй, Санек, пошли покурим, – потянул его за рукав Пятачок, Лёня Пятаев, – маленький розовощекий мужичок, с которым они когда-то неплохо ладили.

– Я не курю.

– Пошли, говорю. Тебе ещё не надоела эта ярмарка тщеславия?

Они вышли на крыльцо и закурили. Дул холодный ветер, снег крутился, обтекая столбы, как вода в половодье. Некстати вспомнилась встреча с Лизой...

– Ты про Лизу знаешь? – спросил Пятаев, глядя на него в упор.

– Да, знаю. Ещё одна эмигрантка...

– Циничный ты.

– В смысле? В Америке, наверное, неплохо живётся.

Пятачок как-то странно посмотрел на него, потом взял под руку.

– Сань, ты ничего не знаешь, да?

– Знаю. Лиза вышла замуж за американца и уехала. Всё.

– Сань, я не знаю, откуда ты это взял, но... У меня тесть в Песочном работает, в больнице. Я ему документы как-то отвозил, иду... Вдруг окликает меня кто-то. Я даже не узнал её, Сань... Глаза только, остальное – чужое... Четвёртая стадия, Сань. Это всё. Она просила тебе не говорить, но я подумал... Ты как, Сань?..

*«PS: письма, конечно, доходят и без индекса, но мне приятно, что я помню твой – 199106. В 1991 мы познакомились, а 06 – месяц моего рождения. Я все помню, Шанежка, милый мой человек...»*



## Коэффициент сцепления

Я, наверное, даже не заговорил бы с ней – не в моих правилах терзать попутчиков досужей болтовнёй. Вошёл в салон одним из первых, пропихнул сумку-багон подальше на пустой багажной полке и устроился возле окна – программа выполнена.

За иллюминатором гроздью огней рассыпался аэропорт. Лило, как из душа, ещё и с ветром; на лужах лежала оспенная рябь. Вот уже больше двадцати лет живу в Питере, а к дурацкому климату никак не привыкну. Так и не стал этот город моим, чужой и холодный.

Я уронил наушники, нагнулся, и, распрямляясь, заметил её – стоит в проходе и растерянно ищет взглядом стюардессу. Оказалось, что пока я глазел в окно, подъехал второй перронный автобус, и салон заполнился людьми.

Я сразу понял, в чём дело: у неё был объёмный чемоданчик, а места на багажной полке уже не хватало.

– Нужна помощь?

– О, да, спасибо! Было бы... с вашей стороны...

Я встал, ловко, как в головоломке-пятнашке, перетасовал вещи и уложил чемодан. Протянул руку за пальто, и она, подавая его, улыбнулась.

Улыбка оказалась хорошей. Такие бывают у женщин, не блещущих красотой, но знающих себе цену. Вот только глаза дышали сухим холодом, как питерский ноябрь. Я не любил дежурные улыбки. Однажды довелось увидеть японку, которая, сверкая мелкими куньими зубками, сообщила о смерти коллеги. Меня тогда, помнится, всего перетряхнуло.

Словно прочитав мои мысли, она погасила улыбку и отодвинулась, чтобы дать мне пройти. Фигура у девушки была крепкая, и деловой костюм обтягивал бричкинские объёмы чуть больше, чем нужно. Конституция, тут уж ничего не попишешь.

– Хотите к окну? – предложил я. – Я много летаю, посмотрелся.

– Сейчас, думаю, быстро в облака нырнём, а в М. я даже не знаю, куда смотреть.

Мне показалось, она хотела сказать по-другому, мол, там и смотреть-то нечего, и я неожиданно обиделся за город, из которого с радостью сбежал два десятка лет назад.

– Зря вы так. Красиво будет, когда разворот над рекой сделаем. И главная площадь. И факел у нефтьоргсинтеза. И...

– Уговорили, – она с добродушным смешком шлёпнулась в кресло. – Только расскажите, куда именно смотреть. Я Петергофа-то ни разу не видела – всё время пропускаю.

Хорошенькие стюардессы, умело лавируя в узком проходе, проверяли, приковались ли мы к сиденьям, и показывали привычную пантомиму на случай экстренной ситуации. Моя соседка съёжилась в кресле, закрыла глаза.

– Бойтесь?

– Да, два месяца назад садились в Оренбурге на вынужденную – птица в двигателе. Перетрусилась сильно. Надо, наверное, смородины попить.

– Почему смородины?

– Да это шутка такая. Локальный мем, если хотите. Моя бабуля всё предлагает лечить смородиной – от головной боли до грыжи. Какая полоса мокрая... а мы не соскочим?

– Не соскочим. Есть такое понятие – «коэффициент сцепления». Всё рассчитано.

– Откуда вы знаете? Вы – инженер?

– Папа занимался авиастроением. В М. есть заводы и авиастроительный Завод с большой буквы. В моём классе у каждого кто-нибудь да работал там. Хотите, могу взять вас за руку? Некоторым, говорят, помогает.

– Не стоит. В таких ситуациях люблю бывать одна. У меня в прошлом году подозревали... нехоршее... никому не сказала, сама поехала за маркером. Одна.

Самолёт разбежался перед прыжком в пустоту. Мелькали огни. Она повернулась ко мне и неожиданно представилась:

– Таисия.

– Красивое имя. Редкое и звучное. А меня Антоном зовут. Таисия, вы как к чёрному юмору относитесь?

– А при чём тут юмор?

– Хотел пошутить, мол, если один из нас выживет, будет знать имя другого.

– Средненькая шутка, – это прозвучало даже как-то не обидно. – Вы жили в М.?

– Я там родился.

– Надо же, – она взглянула на меня с уважением и по-детски капризно потребовала, – расскажите о нем.

Повелительный тон меня не задел. Я давно хотел поделиться с кем-нибудь тем, что помнил о городе и детстве. Иногда даже записывал что-то в блокнотах, вордовских файлах, заметках смартфона... Станным образом эти фрагменты куда-то пропадали, а воспоминания ускользали от меня в морок небытия.

– Это мой дом, – начал, – хотя я давно живу в Питере. Многообещающе, да?

– Мне кажется, вы многое можете рассказать. Мне нравятся люди, которые умеют обращаться со словами. Ой, – это самолёт, как всегда при наборе высоты, вдруг провалился в невидимую яму. – Не молчите, пожалуйста, не то я стану вспоминать ту историю с птицей и умру со страху.

– Чтобы отвлечь вас, хорошо бы, конечно, припомнить пару весёлых баек, но, как назло, ничего в голову не лезет. Всё больше ностальгия и меланхолия.

– Начните с первой любви, – она взяла нагло-шутливый тон. – Обычно это очень занимательно.

...Я закрыл глаза. Зима, горка на лыжной базе. Оплывшее, как масло на сковородке, солнце над гребёнкой чёрных елей. От белизны ломило глаза и лоб. Мы делали санный поезд, с визгом и искристой пылью мчались по склону, с маху врезаясь в снежный бруствер. Все хохотали до колик в животе. Девчонки – особенно. Лица у них пылали, а у меня сладко перекатывалось в животе. Я, хоть и позже других, узнал секрет: зимние ватные штаны у девчонок на завязках, и, пока поезд несётся с горы (для особо наглых – прямо на старте), можно наловчиться и сунуть руку «туда», под пояс спереди. Парням нравилось, девчонки вроде были не против. Длинная и худая Оля-Макаронина, что летом переросла всех парней в классе, громко хихикала. Машка Лисицына шутливо тузила Гришу. Из-под шелковых ресниц Катьки Котовской маслились карие глаза.

На следующем спуске я смело запустил руку «под завязки» Нине Глинниковой, которая уселась передо мной. У Нины были синие глаза в пол-лица и пружинистые белые кудри. Её папа носил полковничьи погоны, поэтому жили Глинниковы не в тесной хрущевке, а в сталинском доме на улице Ленина. На потолке у них висела громадная хрустальная люстра – я видел через окно.

Ветер свистел в ушах. Моя рука стала смелее... Хрясь! Мы ещё даже не доехали до бруствера, а я уже валялся в стороне, по инерции загребая руками рыхлый снег. Это Нина дала мне пощёчину. Что-то я сделал не так.

Сейчас я вообще удивляюсь, почему тогда решил, что с ней так можно. Она была совсем другая, не из нашего мира. Инопланетяшка.

Это стоило понять, когда на День здоровья Нина притащила блины на молоке – румяные и розоватые, как живое тело. У всех остальных девчонок они получались серо-синими, потому что тесто «наводили» на воде.

О той истории с пощёчиной никто не узнал: санный поезд надёжно укрыла снежная пыль, и остальные звенья были заняты чем угодно, только не нами. Через пару дней я набрался храб-

рости и подошёл к Глинниковой на перемене, чтобы попросить прощения. Вопреки моим ожиданиям, Нина легко приняла извинения:

– Я ведь знала, что ты не такой, как они... Другому бы и пощёчину дать побоялась – вдруг ударит в ответ. Я не к тому, что ты мягкотелый или ещё что... просто ты – верный. Такой, как нужно.

Что она имела в виду? Каким нужно быть? Я и сейчас, спустя годы, не знал.

В конце третьей четверти полковника Глинникова перевели куда-то на юг, в Ростов или Таганрог. Нина обещала прислать адрес, но я так ничего и не получил.

... – Вы не спите? – Таисия коснулась моего плеча. – Замолчали резко, а ведь обещали рассказать что-нибудь забавное...

– Сейчас, – я смутился, – соображаю, что будет вам интересно. Вы по делам летите?

– В командировку. Судиться. Я юрист.

– Большой университет заканчивали?

– Да.

– Я тоже в Ждановском на юрфаке три курса отучился. Отчислился из-за Дрейшева. Был такой – гроза административного права. Не застали?

– Нет, только предания доходили. И какую стезю выбрали?

В ее словах мне почудилась насмешка.

– Бизнес, – сухо сказал я.

– Достоинно.

У неё были странные интонации: я никак не мог понять, смеётся она или говорит серьёзно.

– А вы не боитесь летать?

– Нет, – ответил я и покривил душой.

Аэрофобом в традиционном понимании я не был. Страх охватывал меня внезапно, без привязки к времени и обстановке.

Например, по дороге в аэропорт мне попался совершенно невозможный таксист. Сверкая раскосыми глазами в радостном исступлении, он летел по кольцевой, перестраивался из ряда в ряд, одним только чудом избегая столкновения с гигантскими фурами. Вокруг их колёс вихрилась водяная пыль. Мне стало страшно, как не бывало очень давно. Окружающий мир проступил чётче, словно высохло запотевшее стекло, и сделался прекраснее прежнего. За границами чертового колеса, которое мчало меня и безумца-водителя, чернел лес, сияли равнодушным ртутным светом муравейники новых районов, уходя вершушками в облака, подмигивали сигнальными огнями трубы ТЭЦ. Стучали дворники, золотые реки сбегали по стеклу, и я чувствовал, как крепко врос в эту суетную, но оттого не менее прекрасную повседневность.

Я мог потребовать от него рулить аккуратнее, но, будучи мальчиком из города М., по рождению был лишён права бояться. Я должен был, не моргнув глазом, сигать через траншею, оцетинившуюся арматурой, нырять в незнакомом месте, рискуя пробить бестолковую башку, и лететь с обрыва на велосипеде, беззвучно моля неизвестного бога о том, чтобы не сломать себе шею. И я терпел, хотя кровь пульсировала у горла. Терпел и таранился в лобовое стекло, пока глаза не заслезились.

... Я тонул в безбрежном горячечном бреде. Люстра-тарелка, как НЛО, парила надо мной, раскручиваясь вокруг своей оси. За окном в мутной синеве ночи бродил кто-то косматый и страшный, зыркал темными провалами глазниц в окна второго этажа, скалился в недоброй улыбке. Мамы не было рядом. Она, я слышал, убежала к таксофону на углу, чтобы вызвать мне «скорую» – ртутный столбик вопреки горьким белым кругляшам полз к отметке «40». Со мной осталась бабушка. Она застыла в пустом переднем углу, только дощатый пол скрипел под распухшими коленями. Единственная в нашем доме икона на потемневшей доске лежала,

завёрнутая в вощеную бумагу, на дне бельевого ящика. «Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный...» – бормотала она, и безглазый за окном отступал в темноту.

Сердцась, мама называла бабушку чалдонкой, и я долго считал, что чалдон – обидное слово, что-то вроде болвана. Бабушка по-особому, козырьком, повязывала платок, и молилась по воскресеньям в кладбищенской часовне. Другие старушки из нашего двора ходили в церковь на Слюдянке, и одна лишь моя – в староверческую на кладбище, поэтому ей и с ними было не по пути. Мама бабушкину религиозность не жаловала, она верила в советскую власть и достижения науки.

Той страшной ночью бабушка отмолила меня у своего чалдонского бога. Когда квартира наполнилась шагами и разговорами – пришли мама и врач с сестрой, я уже плавал в поту, а бабушка сидела в кресле у моего изголовья. Её губы всё ещё беззвучно шевелились. «Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный...» Это была единственная молитва, которую я выучил.

Паря в пугающей невесомости над мокрой кольцевой дорогой, я вспомнил заветные слова и повторил про себя.

– Вы к родителям? – белизна на щеках Таисии сменилась пастельным румянцем.

– Да.

Она достала из сумочки зеркальце и принялась придирчиво осматривать лицо.

– Представляете, – пожаловалась она, – тушь отняли на досмотре. Говорят, ужесточили правила из-за Олимпиады.

– У меня чуть конфеты не забрали. Решил положить в ручную кладь, чтобы не помялись. Родителям везу. Они всегда любили ленинградские. Петербургские, в смысле. Фабрики Крупской.

Она провела по щекам пуховкой – или как это у женщин называется? – и по-детски надула губки. Я скосил глаза и подумал о том, что она чем-то напоминает жену. Мою бывшую жену. Мы, возможно, всё ещё любили друг друга, я и о себе не мог бы сказать точно, не то что о ней...

Иногда лицо жены, обычное, в общем-то, русское лицо, всплывало передо мной посреди мысленного потока, и я физически ощущал болезненный укол. Не в сердце, а где-то в районе печени. Странное дело.

...Мама стояла возле трюмо и разглядывала отражение в мутном стекле. Я украдкой наблюдал за ней из-за плюшевой занавески, отделявшей комнату от прихожей. Мама терпеть не могла, если кто-то, даже папа, смотрел за тем, как она красится – считала это слишком интимным.

Мама достала из расшитой бисером косметички карандаш, высунув кончик языка, послунила его, и осторожно поднесла к брови. В ту минуту у неё было удивительное выражение лица, совершенно не материнское. Что-то дикое, первобытное отражалось в русалочьих глазах.

Звонок в дверь прервал эту загадочную ворожбу. Папа вернулся из булочной. Мама поспешно спрятала карандаш в карман халатика.

Я хорошо помню этот день. Праздновали папин юбилей, и к обеду стали собираться друзья. Первыми, как обычно, пришли Субботины – Андрей Вениаминович, которого все звали Витаминачем, с женой гренадерского роста, тучной, зычной, вечно хохочущей в тридцать два кафельных зуба. Витаминач был очкастым и тихим, как сельский учитель, пока дело не доходило до третьей рюмки, которая совершенно его преображала: он неумело и похабно шутил, щекотал жену и вспоминал армейские байки.

Вторыми, всегда минута в минуту, появлялись Рагозины. Дядя Витя Рагозин – огромный, косоглазый – хватал меня в медвежьих объятиях, обладавая запахом табака и тройного одеколона. Его жена (имени уже не припомню) молодая и смугленькая, вечно как бы смущённая, с виноватой улыбкой совала маме коробку конфет или кастрюлю с мелкими домашними пирожками.

Она, как я узнал потом, была бесплодна и очень стыдилась этого. Рагозин, кажется, действительно её любил – сейчас уже не спросишь.

Корнеевы по обыкновению опаздывали. Я терпеть их не мог и втайне надеялся, что они поссорятся и не придут совсем. Но они приходили всегда, даже если ругались вдрызг. Лёнька, по-другому его никогда и не называли, был лодырь и дуропляс, маменькин сынок с пузом и лысиной. Я никогда не понимал, что у них с моим отцом, человеком порядочным и образованным, может быть общего. Его жена Зина, некогда красивая, но донельзя заезженная деревенская баба, говорила много и торопливо, будто оправдываясь, и я быстро от неё уставал. Их сын Вовка, уменьшенная копия Лёньки, без конца капризничал, и я никогда не дружил с ним, хоть и был всего на два года старше.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.